



СВЯТКИ

Птицы Божьи

Рождество...

Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота и снежность. Самое слово это видится мне голубоватым. Даже в церковной песне —

Христос рождается — славите!

Христос с небес — срящите! —

слышится хруст морозный.

Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул церковный, и в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламенное оно, густое, больше обыкновенного: солнце на Рождество. Выплывает огнем за садом. Сад — в глубоком снегу, светлеет, голубеет. Вот, побежало по верхушкам; иней зарозовел; розово зачернелись галочки,

проснулись; брызнуло розовой пылью, березы позлатились, и огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро Праздника, — Рождество.

В детстве таким явилось — и осталось.

Они являлись на Рождество. Может быть, приходили и на Пасху, но на Пасху — неудивительно. А на Рождество такие трескучие морозы... а они являлись в каких-то матерчатых ботинках, в летних пальтишках без пуговиц и в кофтах и не могли говорить от холода, а прыгали все у печки и дули в сизые кулаки, — это осталось в памяти.

— А где они живут? — спрашиваю я няню.

— За окнами.

За окнами... За окнами — чернота и снег.

— А почему у кормилицы сын мошенник?

— Потому. Мороз вон в окошко смотрит.

Черные окна в елочках, там мороз. И все они там, за окнами.

— А завтра они придут?

— Придут. Всегда приходят об Рождестве. Спи.

А вот и завтра. Оно пришло, после ночной метели, в морозе, в солнце. У меня защипало пальцы в пуховых варежках и заломило ноги в заячьих сапожках, пока шел от обедни к дому, а они уже подбираются: скрип-скрип-скрип. Вот уж кто-то шмыгнул в ворота, не Пискун ли?

Приходят «со всех концов». Проходят с черного хода, крадучись. Я украдкой сбегая в кухню. Широкая печь пылает. Какие запахи! Пахнет мясными пирогами, жирными щами со свиной, гусем и поросенком с кашей... — после поста так сладко. Это густые запахи

Рождества, домашние. Священные — в церкви были. В льдинках искристых окон плющится колко солнце. И все-то праздничное, на кухне даже: на полу новые рогожи, добела выскоблены лавки, блещет сосновый стол, выбелен потолок и стены, у двери вороха соломы — не дуло чтобы. Жарко, светло и сытно.

А вот и Пискун, на лавке, у лохани. На нем плисовая кофта, ситцевые розовые брюки, бархатные, дамские сапожки. Уши обвязаны платочком, и так туго, что рыжая борода торчит прямо, словно она сломалась. Уши у него отмерзли — «собаки их объели», — когда спал на снегу зачем-то. Он, должно быть, и голос отморозил: пищит, как пищат мышата. Всем его очень жалко. Даже кучер его жалеет:

— Пискун ты. Пискун... пропащая твоя головушка!

Он сидит тихо-тихо и ест пирожок над горстью, чтобы не пропали крошки.

— А Пискун кто? — спрашивал я у няни.

— Был человек, а теперь Пискун стал. Из рюмочек будешь допивать, вот и будешь Пискун.

Рядом с ним сидит плотник Семен, безрукий. Когда-то качели ставил. Он хорошо одет: в черном хорошем полушубке, с вышивкой на груди, как елочка, в розовых с белым валенках. В целой руке у него кулечек с еловыми свежими кирпичиками: мне подарок. Правый рукав у полушубка набит мочалой — он охотно дает пощупать, — стянут натуго ремешком, — «так, для тепла пристроил!» — похож на большую колбасу. Руку у него «Антон съел».

— Какой Антон?

— А такой. Доктор смеялся так: зовется «Антон огонь».

Ему завидуют: хорошо живет, от хозяина красную в месяц получает, в монастырь даже собирается на покой.

Дальше — бледная женщина с узелком, в тальме с висюльками, худящая, страшная, как смерть. На коленях у ней мальчишка, в пальтишке с якорьками, в серенькой шапочке ушастой, в вязаных красных рукавичках. На его синих щечках розовые полоски с грязью, в руке дымящийся пирожок, на который он только смотрит, в другой — розовый слюнявый пряник. Должно быть, от пряника полоски. Кухарка Марьюшка трогает его мокрый носик, жалостливо так смотрит и дает куриную лапку; но взять не во что, и бледная женщина, которая почему-то плачет, сует лапку ему в кармашек.

— Чего уж убиваться-то так, нехорошо... праздник такой!.. — жалеет ее кухарка. — Господь милостив, не оставит.

Мужа у ней задавило на чугунке, кондуктора. Но Господь милостив, на сиротскую долю посылает. Жалеет и Семен, безрукий:

— Господь и на каждую птицу посылает вон, — говорит он ласково и смотрит на свой рукав, — а ты все-таки человеческая душа, и мальчишечка у тебя, да... Вон, руки нет, а... сыт, обут, одет, дай Бог каждому. Тут плакать не годится, как же так?.. Господь на землю пришел, не годится.

Его все слушают. Говорят, он из Писания знает, в монахи подается.

Все больше и больше их. Разные старички, старушки, — подходят и подходят. Заглядывает порой Василь Василич, справляется:

— Кровельщик-то не приходил, Глухой? Верно, значит, что помер, за трешницей своей не пришел. Сколько вас тут... десять, пятнадцать... осьмнадцать душ, так.

— Зачем — помер! — говорит Семен. — Его племянник в деревню выписал, трактир открыл... для порядку выписал.

Входит похожий на монаха, в суконном колпаке, с посохом, сивая борода в сосульках. Колпака не снимает, начинает закрещивать все углы и для чего-то дует — «выдувает нечистого»? Глаза у него рыжие, огнистые. Он страшно кричит на всех:

— Что-о, жрать пришли?! А крещение огнем принимаете?.. Сказал Бог нечестивым: «Извергну нечистоту и попалю!» Вз-зы!.. — взмахивает он посохом и страшно вонзает в пол, будто сам Иван Грозный, как в книжечке.

Все перед ним встают, ждут от него чего-то. Шепчет испуганно кухарка, крестится:

— Ох, милостивец... чегой-то скажет!..

— Не скажу! — кричит на нее монах. — Где твои пироги?

— Сейчас скажет, гляди-ка, — говорит, толкая меня, Семен.

Марьюшка дает два больших пирога монаху, кланяется и крестится. Монах швыряет пирогами, одним запускает в женщину с мальчиком, другим — за печку и кричит неподобающим голосом:

— Будут пироги — на всех будут сапоги! Аминь.

Опять закрещивает и начинает петь «Рождество Твое, Христе Боже наш». Ему все кланяются, и он садится под образа. Кричит, будто по-петушиному:

— Кури-коко тата, я сирота, я сирота!..

Его начинают угощать. Кучер Антипушка ставит ему бутылочку: «С морозцу-то, Ленья, промахни!» Монах и бутылку крестит. И все довольны. Слышу — шепчут между собой:

— Ласковый нонче, угощение сразу принял... К благополучию, знать. У кого не примет — то ли хозяину помереть, то ли еще чего.

— А поросятина где? — страшно кричит монах. — Я пощусь-пощусь, да и отошусь! Думаете, чего... судаки ваши святей, что ли, поросятины? Одна загадка. Апостол Петр и змею, и лягушку ел, с неба подавали. В церкви не бываете — ничего и не понимаете. Бз-зы!..

И мне, и всем делается страшно. Монах видит меня и так закатывает глаза, что только одни белки. Потом смеется и крестит мелкими крестиками. Вбегает Василь Василич:

— Опять Ленья пожаловал? Я тебе раз сказал!.. — грозит он монаху пальцем. — Духу чтоб твоего не было на дворе!

— Я не на дворе, а на еловой коре! — крестит его монах, — а завтра буду на горе!

— Опять в «Титах» будешь, как намедни... отсидел три месяца?..

— И сидел, да не посидел, а ты вон скоро белей савана будешь, сам царь Давыд сказал в книгах! — ерзя, говорит монах. — Христос ныне рождается на муки... и в темницу возьмут, и на Кресте разопнут, и в третий день воскреснет!

— Что уж, Василь Василич, человека утеснять... — говорит Семен, — каждый отсидеть может. Ты вон



Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Проза:

